советская культура

Чехов А.П.



1990. – 27 янв. – С. 15

● *КУКРЫНИКСЫ. Из иллюстраций к рассказу А. Чехова «Дама с собачкой». Д. ДУБИНСКИЙ. Из иллюстраций к рассказу А. Чехова «Дом с мезонином».*

# Тихий Чехов

## *Исполняется 130 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова*

3 августа 1900 года Чехов подарил в Ялте свою фотографию Вере Федоровне Комиссаржевской. И написал: «В бурный день, когда шумело море, от тихого Антона Чехова». Рядом с биографиями Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого жизнеописание Чехова кажется действительно тихим, оно бедно событиями. Однако посмертная жизнь Чехова полна драматизма, самых бурных споров. Эта внутренняя напряженность бытия писателя после ухода из жизни объясняется, по-видимому, тем, что он слит с движущимся временем, развивается вместе с ним. Приведу лишь один пример. Если говорить о сценическом истолковании «Трех сестер», можно назвать две лучшие постановки века: спектакль на сцене Художественного театра, осуществленный Вл. И. Немировичем-Данченко в 1940 году, и постановку западноберлинского режиссера Петера Штайна: мы увидели ее в Москве в 1989 году. Премьеру первого спектакля, на которой я был студентом, никогда не забуду — обаятельного, милого, печального и тоже «тихого» Тузенбаха—Хмелева, Ирины—Гошевой, задыхающегося от злобы, ревности Соленого—Ливанова. С трагической развязкой спорила светлая нота, как определил ее режиссер, «тоска по лучшей жизни».

И — спектакль Петера Штайна... Как будто облака сгустились над пьесой. Жалобней, отчаянней, надрывней зазвучали голоса трех сестер. И еще более страшной, зловещей обозначилась фигура Соленого. В чем тут дело? Многое проступило в жизни с 1940 по 1989 год. Когда Петер Штайн брался за постановку «Трех сестер», у него за спиной были вторая мировая война, Освенцим и Треблинка, сталинские преступления. Не только Чехов-художник отражал жизнь, но и его образы после физической смерти Антона Павловича продолжали впитывать зло, ужасы, пытки, кровь. И тогда возникали неожиданные ассоциации между Соленым и людьми, творившими расправу с беззащитными жертвами на улицах или в глухих застенках.

Я вспоминаю, как незадолго до смерти Маршак работал над статьей о Шекспире. В те дни он мне сказал:

— Я читаю кровавые шекспировские драмы и хроники... И не могу одновременно не думать о хронике двадцатого века, которая превзошла самые мрачные картины писателя.

Обращаясь к Чехову, исследователь не может отделить его от бурного двадцатого века. Он почувствует, как в произведениях «тихого» Антона Павловича угадываются события и обстоятельства, до которых писателю не довелось дожить.

Чехов и мир — вот грань, которая явственно проступила в наше время, в годы конца столетия.

Лев Толстой сказал о Чехове — в последние годы эти слова приводятся все чаще: «достоинство его творчества то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще».

Толстой один из первых раскрыл общечеловеческий смысл и дух чеховского творчества. Любопытно, что многим современникам писателя мысли о его мировом значении казались преувеличенными и необоснованными. Так, например, критик Е. Ляцкий писал в 1904 году о Чехове: «Мы имеем дело с писателем далеко не заурядным, хотя и не «великим» и не «европейским», как его величают у нас не в меру усердные отечественные хвалители».

Сегодня подобный отзыв может вызвать только улыбку. Дело не в том, что критик начала века был недальновиден, а и в том, что в ту пору мировое значение Чехова не открывалось взгляду исследователя с такой очевидностью, как, скажем, в наши дни.

В «Литературном наследстве» подготовлено к печати большое, свыше чем на 150 авторских листов, издание в двух книгах — «Чехов и мировая литература». Исследователи, переводчики и писатели многих стран и континентов говорят о роли, которую сыграл Чехов для развития культуры их народов. И вот что интересно: часто пишущие говорят не о том только, что Чехов им близок, дорог, а и о том, что они воспринимают его как **своего** писателя.

Так, японский исследователь Сейро Сато, тонко чувствующий Чехова, в своей статье для тома перечисляет пункты — чем Чехов близок японскому читателю. И среди них такой: «Очень созвучны нашей душе и глубокие размышления многих персонажей как в рассказах, так и в пьесах Чехова. В моменты, отмеченные в пьесах ремарками «молчание» или «пауза», мы ощущаем связь мгновения с вечностью. Это близко по духу к дзэн-буддистскому: «В «нет» есть все». Мы чувствуем момент, соединяющий мгновение с вечностью, и в звуке лопнувшей струны в «Вишневом саде».

В чеховском томе «Литературного наследства», который мы подготовили с Э. А. Полоцкой, много таких высказываний: когда английский критик ощущает в Чехове англичанина, польский — воспринимает его как соотечественника по духу и т. д.

До последнего времени у нас не было ни одной книги, где бы рассматривался вопрос о международных литературных связях Чехова. С тем большим интересом я прочитал книгу В. Б. Катаева, которая так и называется: «Литературные связи Чехова» (издательство Московского университета, 1989). Автор — известный чеховед, ему принадлежит талантливая книжка «Проза Чехова: проблемы интерпретации».

Книга, о которой идет речь,— заметное событие в мире чеховедения. Автор сопоставляет Чехова с русскими писателями — от Толстого до Потапенко и Лейкина; а вместе с тем — с западными: с Шекспиром, Гете, Ибсеном, разбирает образы чеховских Дон Жуанов.

Тут маленькое отступление. В многочисленной армии пишущих о Чехове есть и такие, кого можно было бы назвать: чеховеды-эгоцентрики. Им важно прежде всего не на писателя посмотреть, а себя показать. Все, что они говорят, изрекается, будто впервые, словно у них нет никаких предшественников. Это — чеховедение, лишенное сносок. Автор ссылается только на самого себя: «Мне уже приходилось отмечать...», «Я уже не раз говорил...» и т. д.

Владимир Борисович Катаев — полная противоположность такому «эго-ведению». Приступая к новой теме, он прежде всего внимательно воссоздает те концепции и взгляды, которые излагались до него. С иными он спорит — всегда корректно и как-то терпеливо, что ли. «Литературные связи Чехова» — очень спокойная, добросовестная книга. И очень доказательная. Иногда с автором не соглашаешься. Ну, например, когда читаем «Основной предшественник Чехова в изображении иронии жизни по отношению к мечтам, исповедям, декларациям героев — Гоголь».

Верно, помимо Гоголя, был еще Лермонтов, автор стихотворения «Благодарность», чья ирония во многом объясняет интерес и симпатию к нему Чехова. По этому поводу можно спорить, в целом же книга В. Б. Катаева радует глубиной и доказательностью.

Одновременно с ней вышла в свет в «Советском писателе» работа В. И. Камянова — «Время против безвременья. Чехов и современность».

Откровенно говоря, в журнальных публикациях этого автора, посвященных Чехову, многое вызывало противодействие. Теперь, с выходом книги, несогласия углубились, стали более определенными. К сожалению, В. И. Камянов часто бросает фразы, как бы лишенные основания. К примеру, «Каждый второй чеховский интеллигент — мастер театрализации собственной судьбы». У Чехова — сотни интеллигентных персонажей. Как это было бы скучно и не по-чеховски однообразно, если бы половину их составляли «мастера театрализации собственной судьбы»!

Но самое удивительное в книге В. Камянова о Чехове — ее язык.

«У чеховского слова есть зона открытой работы...» Сказано так, будто речь идет не о писателе, а о прорабе. Зона открытой работы... Хорошо еще, что не котлован. «Сюда (т. е. в зону.— **З. П.**) свободно входит ближайшее календарное время с его резкими приметами и, войдя, укладывается в емкий образ, допустим, в образ закупоренного флигеля, охраняемого лютым надсмотрщиком Никитой». Итак, время входит в образ флигеля...

Чехов назвал краткость сестрой таланта. Как натужно и туманно выглядит рядом определение критика: «Чеховская краткость — родная сестра протяженности (?), для которой и сжатость формы не помеха: на тесном сюжетном пространстве, быть может, особенно выразительна властная повадка Жизни, не согласной распадаться на «отрывки».

Много загадочного в сентенциях В. Камянова. «Интонация не льнет к факту и не приподнимает его над соседними, скорее напротив — сглаживает его остроту». Не льнет, значит, и не приподнимает. А почему, собственно, интонация должна льнуть к факту? — тоже ведь интересный литературоведческий вопрос.

Смело трактует автор книги ситуацию, раскрытую в рассказе «Черный монах».

«Если разобраться, Коврин наматывает свой клубок, заплетая туда сочиненную им идеальную Таню, а она — свой, и туда был впутан образ «гения»...

Странные чудеса творятся в камяновской книге: время укладывается в образ флигеля, интонация, вопреки ожиданиям, не льнет к факту и не приподнимает его над соседними, а Коврин — «если разобраться» — наматывает свой клубок и заплетает туда Таню... Мучительно жаль, конечно, героиню, но пойдем дальше.

Что вы думаете, читатель, по поводу такого тезиса:

«В художественной организации новеллы вообще неразличимы специальные приемы или приспособления для перевода сюжетной подробности в метафизический план».

Лучше всего по этому поводу сказала героиня чеховской «Свадьбы»: «Они **хочут** свою образованность показать и всегда говорят о непонятном».

А вот еще: «Чеховский герой зорко следит за интригой собственной судьбы, боясь упустить ее главную нить и соотнося короткие отрезки времени с широким его ходом».

Отныне за чеховского героя мы спокойны — он при деле.

Рамки газетной статьи требуют краткости (той, что родная сестра протяженности). Поэтому последняя цитата.

«Фабульная линия под воздействием необычного происшествия круто идет вверх, между тем как внутренний сюжет, не позволяя происшествию слишком выпирать, стачивает его резкие грани. И персонажи, испытавшие встряску (вместе с читателем.—**З. П.**), охваченные тревогой, интересны здесь не столько выбором позиции и ролью в конфликте, сколько тем душевным усилием, с каким они прилаживаются к новому грузу».

Крупную денежную премию надо было бы дать тому, кто ответил на вопрос: «грузу» чего?

Я вовсе не хочу сказать, что книга В. И. Камянова состоит сплошь из неудач. Там, где нет многозначительной невнятицы, мы встречаем интересные, оригинальные суждения автора.

М. П. Громов уже долгие годы изучает жизнь и творчество Чехова. Он, как и В. Б. Катаев, активный участник Полного собрания сочинений. Ему удалось установить дату первого сборника писателя — 1882, название — «Шалость»; разрешение на выход в свет не было получено.

Сейчас вышла «Книга о Чехове» Михаила Громова в издательстве «Современник». В своих характеристиках писателя автор не мудрит, не суесловит, язык его прост и ненатужен. «Книга о Чехове» — своя, самостоятельная. Исследователи не раз говорили о многолюдстве чеховских произведений. М. П. Громов не удовлетворился простой констатацией. Он провел своего рода перепись «населения» у Чехова — его персонажей. И его картотека помогла установить: «в повествовании Чехова описывается, существует, упоминается восемь с половиною тысяч типов, имен, лиц...». А если добавить сюда драматургию, фельетоны, «Остров Сахалин», записные книжки, черновые наброски, письма, то общее число типов, характеров, лиц, имен, отразившихся в Полном собрании сочинений Чехова, должно исчисляться десятками тысяч.

Есть в книге М. П. Громова неточности — их немного. Например: «Чехов скажет о Тузенбахе: выстрел — не драма, а случай». Но Чехов скажет это не о Тузенбахе, а о дяде Ване, стрелявшем в профессора Серебрякова.

**Чехову, прожившему такую короткую и трудную жизнь, выпало на долю посмертное бытие поистине бесконечное. Он — не только один из самых великих, но и самый насущный, повседневный. Говорят, что «тихий» Чехов скрытен. Но именно от него у нас нет секретов.**

Зиновий ПАПЕРНЫЙ.